

## Учитель (В. Зак)

Мне было двенадцать лет, когда я пришел в ленинградский Дворец пионеров. Помню, что желающих заниматься шахматами было очень много и, чтобы выявить лучших, тренеры давали сеансы одновременной игры. Тогда я и увидел в первый раз Владимира Григорьевича Зака. Партия наша длилась недолго. Я начал партию французской защитой, но на втором ходу вывел ферзевого коня. Зак спросил, сколько мне лет и известно ли мне, как следует играть в этом положении. Вместо ответа я жестом предложил ему продолжать игру. Отбор я, естественно, не прошел и только со следующего года начал заниматься в шахматном клубе Дворца пионеров. Из того периода в памяти остался строгий очень человек с яркими, я бы сказал, ассирийскими чертами лица, долгим взором немигающих черных глаз и беспрестанной работой желваков, особенно во время анализа, когда он обдумывал позицию.

Шахматный клуб находился тогда в замечательном, орехового дерева бывшем кабинете царя Александра Третьего в Аничковом дворце, с потолка свисала огромная сверкающая люстра - не случайно сюда всегда водили группы иностранных туристов. Несколько контрастировало с царской обстановкой большое панно: Ленин играет в шахматы на Капри, Горький наблюдает за игрой, солнечный апрельский день 1908 года.

Обычно один из тренеров — нередко это бывал и Зак — давал пояснения иностранцам, сколько детей в группах, как часто приходят и т.д. Владимир Григорьевич, впрочем, не особенно любил это: надо было отвлекаться от занятий, да и вопросы были всегда одни и те же. Мы при появлении гостей всегда вставали, не отрывая при этом взгляда от позиции, переговаривались, самые маленькие сортировали отбитые у врага фигуры: ребенка ведь потеря ферзя или ладьи огорчает гораздо больше, чем такое нематериальное понятие, как мат. Когда иностранцы уходили, тренер выговаривал наиболее шумливым, и занятия шли своим чередом до следующего визита.

Тяжелая дверь клуба открывалась ровно в четыре, все устремлялись к стендам, на которых висели турнирные таблицы, определялись пары для игры, расставлялись шахматы, играющие с часами обращались к тренерам: «Переведите мне стрелки, пожалуйста». Для того чтобы установить правильное время, требовалось нехитрое приспособление, всегда отсутствующее на шахматных часах. Наиболее ловкие приводили стрелки часов в движение монетами, но это не всегда удавалось.

У Владимира Григорьевича была своя фирменная утяжеленная «переводилка», он редко выпускал ее из рук, если же это случалось, выговаривал каждому, кто отдал ему инструмент не вовремя. Контроль времени был тогда час и три четверти на 36 ходов, после чего партия откладывалась. На конверте отмечалось положение фигур на доске и проставлялось время. Собранные в лодочку пальцы помогали сохранить тайну записанного хода, защищая его от любопытных взоров соперника во время процесса записи. После этого конверт помещался в специальную папку, дожидаясь дня доигрывания. Я прибежал иногда к спасительной формуле:

«Отложена», отвечая на вопрос матери, как сыграл, но по моему удрученному виду она, вероятно, догадывалась о горькой правде. Играть блиц дозволялось только по воскресеньям. Изредка разрешение получалось и в будний день с обязательным обещанием не шуметь, которое, конечно, сплошь и рядом нарушалось. В этом случае виновным выговаривалось, а при рецидиве часы могли быть вообще отобраны.

Если партия заканчивалась, можно было попросить любого тренера, который в тот момент был свободен, посмотреть ее; как правило, это делал победитель. Из того времени помню, как однажды попросил Зака проанализировать только что выигранную партию. Когда мы подошли к критической позиции, я сказал: «У меня, конечно, здесь хуже, но соперник очень нервничал, тогда я загнал себя еще и в цейтнот, он стал играть на время и ошибся». Владимир Григорьевич потемнел на глазах: «Это я тебя учил так играть? Позор! Что это за трюкачество такое?» Я не помню всех слов, которые он мне говорил тогда. Дети побаивались его, пожалуй, больше, чем других тренеров. «Это что у тебя такое? — строго спрашивал Владимир Григорьевич. — Листочек? А ты знаешь, что происходит с листочками? Где твоя теоретическая тетрадь? Чтобы это было в последний раз и чтобы потом всё было переписано в тетрадку». В случае препирательств нерадивый ученик мог быть вообще отослан домой. Вспомнил об этом совсем недавно, когда, перерыв всё, так и не смог найти важный анализ защиты Грюнфельда, записанный в свое время на отдельном листе.

Но хорошо вижу его и с веселыми угольками в глазах отчитывающим мальчика: «Ты с кем из нас поздоровался, когда сказал Владимир Григорьевич?» Рядом с Заком стоял мастер Кириллов, которого тоже звали Владимир Григорьевич, и мальчик не знал, шутят ли с ним или говорят серьезно.

Став старше, я стал выезжать на соревнования в другие города. Помню, в Риге на всесоюзном юношеском первенстве 59-го года провел с ним долгий вечер за анализом отложенной позиции. В темповом ладейном эндшпиле, где у меня была лишняя пешка, мы пришли к выводу, что следует обязательно начать с хода b4, предотвращая контригру соперника. Придя на доигрывание, я увидел, что пешка уже стоит на этом поле. Владимир Григорьевич посмотрел на позицию и, не удостоив меня даже взором, медленно удалился. Партию я не выиграл даже с пешкой на b4, боялся попадаться ему на глаза, но он, видя мои переживания, никогда потом не напоминал мне этого случая. Помню и поездку в Тбилиси в январе 1960 года на матч юношеских команд Грузии, Ленинграда и Москвы. Тогда это было целое путешествие: трое суток в поезде с пересадкой в Москве. В выходной день Владимир Григорьевич взял всю нашу команду с собой в гости к Вахтангу Карселадзе - знаменитому тренеру, положившему начало женским шахматам в Грузии. Мы пили чай и с удивлением наблюдали за Заком и Карселадзе. Они называли друг друга Володя и Вахтанг, вспоминали какие-то турниры и партии, и мы видели, что и турниры эти и партии — для них важнейшее, что есть в жизни. Было мне шестнадцать лет, я уже курил вовсю, но, конечно, и в мыслях не было курить при Владимире Григорьевиче.

Иногда в шахматный клуб Дворца заходили его ученики, ставшие мастерами или гроссмейстерами, и наиболее известные из них — Виктор Корчной и Борис Спасский. Большие фотографии обоих висели прямо под портретами самых великих, дожидаясь своей очереди, чтобы продолжить верхний ряд, но дети узнавали их и так и смотрели на них как на божества.

Боре Спасскому было девять лет, когда он в первый раз увидел Зака. Он вспоминает: «Лето 46-го года было для меня очень светлым периодом в жизни; я тогда еще не поступил во Дворец и тем летом ходил в Центральный парк, на Острова. Помню павильон там шахматный с конем на

фронтоны, пруд рядом, шахматные столики, и вдруг — появление человека яркой восточной наружности, чалму ему одень, был бы настоящий индийский факир. Этакое явление факира из сказочного мира. Таким я увидел Зака в первый раз. И делал он тоже что-то волшебное — один играл против всех. Впечатление от Смыслова, дававшего сеанс одновременной игры год спустя, было уже не то...

В этом же году я стал приходить к нему во Дворец пионеров, но и не только. Он стал заниматься со мной лично, дома, индивидуально. И так он всегда делал, если кого-нибудь с талантом видел. Он жил этим, загорался, конечно, мог и ошибиться, но работал, и помногу, в ущерб себе, своей семье... Я и оставался у них нередко, обедал. Это он королевскому гамбиту меня научил и королем научил вперед выходить в дебюте, не бояться. Ведь дети впитывают всё как губка, вот и я впитывал. Так я стал королем королевского гамбита в 20-м веке, ведь я по существу один его и играл.

Но он занимался со мной не только шахматами. Первый раз в жизни я был в опере тоже с ним. Помню, это была «Кармен», потом были и на «Лакмэ». Любовь к опере я сохранил до сих пор, и у меня сейчас большая коллекция опер. Так что и к этому Владимир Григорьевич руку приложил... Помню еще, что по его настоянию «Принца и нищего» Марка Твена прочел и мучился очень, переживал, страдал несколько дней, когда принцу снова нужно было в нищего превращаться...

И в секцию конькобежную пошел по его настоянию, я ведь довольно хорошо бегал на коньках, когда был маленький, но начались шахматы, и эта страсть, конечно, всё перевесила. Так, я на первой тренировке с непривычки — другие коньки были — упал и сознание потерял, пролежал длительное время, а когда очнулся, тренер так жалобно смотрела на меня: иди, мол, занимайся своими шахматами.

Сделал он для меня тогда еще одно огромное дело. Благодаря Заку и Левенфишу, который работал в конце 40-х годов в Спорткомитете, я стал получать стипендию. Материально это значило для нашей семьи чрезвычайно много, и мы смогли несколько вздохнуть. За одно это я благодарен ему безмерно и семье его и сейчас помогаю.

Многое он взял от Романовского — тот был для Зака кумиром. Я сам Романовского мальчиком видел и знал плохо, а Заку он очень импонировал тем, что был типичный бессребреник, шахматы любил самозабвенно, было у него какое-то чувство жертвенности, всё для шахмат, настоящий фанатик шахмат. И был он каким-то полуинтеллигентом в отличие от Левенфиша, например, или Богатырчука, да и сам Зак в области духа тоже был скорее полуинтеллигентом и где-то очень советским человеком.

Мне кажется, что он не был сильным педагогом. Помню, в Риге в 1951 году играли мы вместе в четвертьфинале первенства страны и жили, как водится, в одном номере гостиницы. Я сэкономил тогда на еде и потом, в конце, собрав четырнадцать шоколадок, отдал ему: «Вам, Владимир Григорьевич — для девочек, дочек ваших». Так он не взял, сказав: «Нет, это тебе самому, ты ведь любишь сладкое». Обиделся я тогда очень, ну хоть бы несколько взял, а остальные отдал, а не все...

Там же в Риге были мы с ним вместе на кинофильме «Последний раунд», там боксер в конце своего тренера нокаутирует. Владимир Григорьевич при этом даже из зала вышел и сказал, расчувствовавшись: «Вот и ты так меня когда-нибудь нокаутируешь...» И обидчивый был очень. Помню, в 60-м году в ЦШК читал я лекцию, я тогда уже с Бондаревским работал. Не

понравилось ему что-то в этой лекции, подошел он ко мне после ее окончания и сказал: «Ты — подлец!» И сказать это ему было, быть может, тяжелее, чем мне услышать. Нелегкого характера был Владимир Григорьевич, может быть, оттого, что жизнь у него нелегкая была. Помню — это уже много позже было, — у него на даче, в Ушково, сидели мы с ним целый вечер за бутылкой коньяка, и так он мне всю жизнь свою рассказал, трудную жизнь... Вообще я стал его с возрастом больше ценить. Вот еще светлое воспоминание о нем: когда уже совершенно безнадежно проигрывал я матч Карпову в 74-м году и Бондаревский уже прекрасно всё понял, позвонил мне Владимир Григорьевич и сказал: «Знаешь, Боря, есть у меня один вариант, давай посмотрим вместе». Трогательно было очень...»

Корчному было четырнадцать лет, когда он попал под опеку Зака. Это слово неполно передает всю гамму отношений, шахматных и человеческих, между тренером и его учеником.

Виктор Корчной: «Я рос без отца — он погиб на фронте, и Зак во многом заменил его. Я приходил к нему в дом, я был вхож в семью, он лепил меня как человека. Его, пожалуй, можно назвать ленинградским интеллигентом, я следил за его манерами, например, мне и сейчас трудно пройти мимо знакомого человека, если на мне шляпа, и не снять ее. Это я у него увидел, пусть маленький шприх, но все же... Он много сделал для моего воспитания. При всем при том был он в чем-то очень советским человеком.

Был ли он также, моим шахматным учителем? Только в определенном смысле и до определенного уровня. Он сыграл какую-то роль и в выборе моего дебютного репертуара — защита Грюнфельда, открытый вариант испанской, но скорее я сам себя учил, хотя, конечно, я не могу считать себя таким самоучкой, как Карпов или Иванчук. На более высоком уровне он уже фактически ничего не мог дать, ему и не следовало стремиться на этот уровень, но я не уверен, понимал ли это он сам. Он был честолюбив в своих учениках, ему было приятно, когда они добивались успехов, кого он больше любил — меня или Спасского, — я не знаю, вероятно, Спасского, ведь тот пришел к нему совсем маленьким. И он очень переживал, когда Спасский ушел от него к Толушу, очень. Позже, кстати, я сожалел, что тоже не поступил к Толушу, так как он значительно обогатил Спасского и очень многому научил. Я не думаю, что Зак был тяжелым человеком, скорее он был тверд в своих принципах, а в этом я не вижу ничего плохого.

То, что он прислал мне книгу о шахматном Ленинграде без упоминания там моего имени, считаю началом его болезни. Может быть, именно этот факт, когда он исключил меня из списка своих людей, из списка ленинградцев, и стал одной из причин того, что он вступил на путь болезни, маразма... Он мне написал письмо, что лучше такая книга, чем никакая, а я ему ответил: нет — лучше никакая книга, чем вранье. И после этого между нами не было уже никакого контакта».

Так получилось, что Владимир Григорьевич сыграл решающую роль в выборе и моего жизненного пути. Когда по окончании школы для меня встал вопрос, где учиться дальше, он сказал: «А что ты думаешь по части географического факультета университета? Во-первых, учиться там легко, будет много свободного времени для шахмат, да и заместитель декана там Сережа Лавров, большой любитель игры... Ну а если уж совсем не понравится — переведешься на какой-нибудь другой факультет». Участь моя была решена, и, хотя я иногда задумывался впоследствии, не пойти ли мне по другой стезе, пять лет учебы пролетели как-то незаметно... Поступив в университет и формально не имея ко Дворцу уже никакого отношения, я, флинуруя по Невскому, заходил иногда в шахматный клуб. Но по-настоящему я узнал Владимира Григорьевича, только когда сам стал работать там тренером. Тогда мы виделись фактически ежедневно на протяжении довольно длительного времени, вплоть до моего отъезда из страны.

Зак родился 11 февраля 1913 года в еврейской семье в городе Бердичеве на Украине. В 20-х годах семья переехала в Ленинград, Вульф стал Владимиром, еврейство его как-то растаяло, отошло куда-то далеко, пока об этом в конце 40-х ему не напомнило само государство. Но по культуре и воспитанию он был, конечно, русским человеком.

Всю войну Зак провел на фронте, там же вступил в партию, что было тогда, как и для многих, в порядке вещей. Шахматы всегда занимали главенствующее место в его жизни. До войны он занимался у Петра Арсеньевича Романовского; у мэтра дома собиралась группа молодых ленинградских шахматистов, в которую входил и Володя Зак. Под руководством Романовского анализировались партии, разрабатывались дебюты, игрались тематические турниры. Нередко он рассказывал и о корифеях прошлого. Аромат этих занятий Зак пытался донести до детей во Дворце. «Кто, вы думаете, играл сильнее всех в конце прошлого века?» — спрашивал он, копируя Романовского. Дети положительно не знали, что ответить, и терялись в догадках: «Стейниц? Чигорин?» - «Так же отвечали и мы», - говорил Владимир Григорьевич. После того как были названы все мыслимые имена, Романовский, подняв указательный палец кверху, говорил: «Мэзон! Вы должны посмотреть партии Мэзона. Мэзон играл сильнее всех...» Только став взрослее, дети узнавали окончание этой фразы, которая не говорилась им из педагогических соображений. Именно: если он бывал трезв, разумеется, а это случалось нечасто...

Характерно, что сам Зак так и не стал мастером. Дважды после войны он играл матчи на звание мастера, что практиковалось в те времена. Один из них он проиграл мастеру Виктору Васильеву — инвалиду войны. Это был сильный мастер и аналитик. Помню рассказы Владимира Григорьевича о его анализах эндшпиля «ладья и конь против ладьи», где Васильев доказывал, что задача защищающейся стороны очень трудна. Мне всегда казалось, что ничью можно сделать как угодно, но каждый раз, когда я вижу это редкое окончание, вспоминаю Зака и секретные анализы мастера Васильева. Другой матч он проиграл Юрию Авербаху, который вскоре после этого стал гроссмейстером. Мне кажется, что тот факт, что он так и не стал мастером, оставил у Зака рану, которая так и не затянулась, даже когда ему в 1958 году присвоили звание «Заслуженный тренер СССР». Вижу хорошо его на закрытии юношеского первенства страны, когда судья турнира, представляя тренера ленинградской команды, запнулся: «Мастер спорта... мастер спорта... кандидат в мастера спорта Зак». Лицо его и весь облик напоминали изваяние времен цивилизации инков: немигающий взгляд был устремлен на говорившего и только желваки играли больше обычного.

Вспоминаю рассказ Владимира Григорьевича о его партии с Суэтиным. В выигранной позиции Суэтин, тогда молодой кандидат в мастера, зевнул качество и сразу заметил это. Слезы навернулись на его глаза, и соперник позволил ему вернуть ход. Десяток ходов спустя Суэтин выиграл прямой атакой. Очевидно, что такого рода поступки не должны иметь места в практике турнирного игрока. К тому же совмещать игру с тренерской работой становилось всё труднее, и Зак вскоре окончательно отошел от практики. Но, честно говоря, он и не был особенно сильным шахматистом.

Марк Тайманов: «Зак был шахматистом довольно узких представлений, в чем-то и начетчик. Он работал над теорией, выписывал какие-то варианты, но всё это было в очень узком кругу и было очень догматично».

Действительно, его шахматные концепции, как мне кажется, имели законченный, устоявшийся, я бы сказал, в чем-то талмудистский характер. И дебютные вкусы его были постоянны.

Вспоминая пору своего ученичества и период конца 60-х — начала 70-х годов, когда видел его вблизи как тренера, могу сказать, что у Зака было несколько систем и дебютов, которые он страстно пропагандировал: защита Грюнфельда, открытый вариант и вариант Яниша в испанской, система с g3 в сицилианской, гамбит Шара — Геннинга и, конечно, королевский гамбит. В принципе ему нравились позиции с нарушенным материальным соотношением или необычные в позиционном ключе. Вижу его хорошо за анализом одной такой, получающейся в славянской защите; несмотря на материальную недостачу, ему казалось, что у черных есть свои шансы. Зак анализировал эту позицию постоянно, пытаясь найти в возникающей пешечной гонке ресурсы за черных, иногда это ему удавалось, чаще — нет, но он снова и снова расставлял позицию с черным конем, далеко забредшим в неприятельский лагерь. Было видно, что ему нравится сам характер борьбы: здесь не отделаешься определениями типа «заслуживает внимания» или полумерами, что, кстати, и соответствовало его характеру. Анализируя, он нередко резким, отбрасывающим движением руки рассекал воздух, показывая тем самым партнеру по анализу несостоятельность предложенного им хода или варианта. Речь его да и других тренеров была пересыпана диковинными выражениями, цитатами, удивительными ассоциациями, частенько употреблявшимися во время анализа. «Так-так, — приговаривал Зак, делая ход. — Так-так, сказали мы с Петром Ивановичем» (или с Петром Арсеньичем — в зависимости от настроения). Нередко он употреблял карточные термины, как-то: «А не пройтись ли нам за взяточкой?», создавая какую-нибудь угрозу, или повторяя: «Сначала мы отберем свои» - при отыгрыше материала и т.д. Он играл иногда в карты, игра носила необычное название — винт и была, как объяснял Владимир Григорьевич, много сложнее преферанса — в ней использовались все 52 карты. Это, конечно, из традиций гоголевско-чеховского чиновничьего Петербурга: вечером, в винт, в своем кругу, по маленькой.

Иногда в анализе только что сыгранной партии принимали участие два тренера. Анализ, как это нередко бывает в таких случаях, превращался в игру, и поиски истины заменялись доказательством своей правоты. Дети наблюдали за поединком тренеров, иногда сами предлагали ходы, время, напоенное чудесной игрой, летело незаметно...

Когда говорил Зак, чувствовалось, что шахматы для него — всё, вернее, даже не сами шахматы, а весь этот мир, где «полуфинал города среди юношей» звучал как «Песнь песней», анализ, или «шлифовка», как он называл этот процесс, ладейного эндшпиля представлялся важнейшим действием в мире, а вопрос, кто и на какой доске будет играть за юношескую сборную города, вырастал до проблемы глобального масштаба. Эту преданность шахматам дети чувствовали очень хорошо и сами, конечно, заражались ею.

При всем при том характер у Владимира Григорьевича был не из мягких. Был он человек, требующий к себе уважения, очень ранимый, обидчивый и упрямый. Я не думаю, что было бы правильно списывать всё на тяжелые времена и трудную жизнь, она была такой тогда у всех, как и вообще всякая жизнь и во все времена. Зачастую он не мог или не хотел понять позицию другого, а понятие компромисса было ему чуждо. В этом случае он полностью прерывал отношения, прекращая даже здороваться. Во время моей тренерской работы во Дворце он не разговаривал с мастером Бывшевым. Бывало, по несколько раз на день то один, то другой говорил мне: «Гена, ты не мог бы сказать Василию Михайловичу» или «Гена, спроси, пожалуйста, Владимира Григорьевича». Он говорил мне, разумеется, Гена и ты, а я ему — Владимир Григорьевич, хотя на детях он обращался ко мне по имени-отчеству, увлекаясь разве что во время совместного анализа, когда снова называл Геной. Мы были уже коллегами, и я тоже выезжал с детьми на соревнования и тоже уже давал пояснения группам иностранных туристов, приходившим в шахматный клуб, зная в глубине души (и сохранив это чувство до сих

пор), что никакой иностранец не понимает и не может понимать смысла всего, происходящего в России. Объяснения мои и ответы на вопросы всякий раз повторялись, и только один раз я не нашелся, что сказать, когда немолодой уже фермер из Айовы с детскими голубыми глазами, остановившись у панно с Лениным, играющим в шахматы, спросил неожиданно: «А кто выиграл?»

Я часто стоял, опершись о широкий подоконник, и глядел на уходящую вдаль линию Невского проспекта, из-за спины доносились привычные звуки: детские голоса, выстрелы от переключения часов, стук сбитых фигур. Или выходил покурить, дверь рядом вела в приемную, где сидела очаровательная Ирочка — секретарша директрисы Дворца Галины Михайловны Черняковой. Наконец время подходило к восьми, клуб постепенно пустел, и, если другие тренеры тоже уходили, Владимир Григорьевич говорил мне: «Ну что, Гена, не пора ли нам пора?» Мы тушили роскошную люстру, дважды проворачивали огромный ключ и шли к замечательной мраморной лестнице бывшего царского дворца, которая немало видела на своем веку. Спускаясь по ней, мы проходили мимо большого панно: пионеры в красных галстуках смотрят восторженно на Жданова — одугловатое лицо, усики, френч с большими карманами. Дворец пионеров носил тогда его имя, равно как и университет, который я закончил. Было бы логично, если бы я и жил в Ждановском районе, но это было не так, я жил в Дзержинском. Нередко нас встречали родители или бабушки, чтобы поинтересоваться успехами детей или просто спросить, не шалит ли ребенок. Самых маленьких ждали внизу несколько часов перед гардеробом: зачастую дорога домой была неблизкая, и не имело никакого смысла возвращаться, чтобы через полчаса снова собираться в путь, время же тогда не стоило ничего.

Владимир Григорьевич всегда давал несколько копеек старушкам-гардеробщицам и непременно называл их по имени-отчеству

— Марья Гавриловна или Варвара Тимофеевна. Зимой помню его всегда в одном и том же черном пальто с потертым воротником, в руках у него был коричневый портфель, тоже выдавший виды. Перехватить десятку до полочки — часто встречавшееся тогда явление — было знакомо и ему. Мы выходили на Фонтанку и шли к Аничкову мосту, болтая о том о сем. Вижу хорошо один такой весенний вечер, когда, вступая на мост и продолжая разговор о ком-то, он произнес: «Ты знаешь, Гена, я никогда не ругаюсь, но об этом человеке могу сказать только, что он... нет, ты слышал от меня хоть когда-нибудь одно бранное слово?» Я отрицательно мотал головой. «Нет, ты меня очень извини, но человек этот...» Спустившись с моста, мы поравнялись уже с замечательной красоты дворцом Белосельских-Белозерских, где тогда размещался Куйбышевский райком партии. Владимир Григорьевич еще раз оглянулся, чтобы его не мог услышать случайный прохожий, и тихо произнес: «Человек этот — говно». На углу Невского и Владимирского наши пути расходились: он сел в трамвай, чтобы ехать домой, я же переходил на другую сторону Невского, не зная еще, повернуть ли направо — в направлении дома или налево - в сторону Садовой и Чигоринского клуба. Вечер еще только начинался, и неизвестно было, как и когда он кончится.

У Зака было немало знакомых в научном мире. На протяжении долгого времени он руководил шахматным кружком в Доме ученых. Сам он закончил Институт киноинженеров, но никогда не работал по специальности и, мне кажется, испытывал пиетет ко всем этим профессорам и ученым, собиравшимся раз в неделю в особняке на Неве и под его руководством разбиравшим партии или игравшим в турнирах. Шахматы были для них не только любимой игрой, которой были отданы детские или юношеские годы, но и средством уйти в другой мир, без собраний, политинформаций, юбилеев и коллективных писем протеста или в защиту, которыми была

пронизана вся жизнь тех времен.

В январе 1972-го, моего последнего года в России, мы были вместе в Чернигове на всесоюзных юношеских соревнованиях. Темы разговоров за ужином были обычные: X никак не может избавиться от цейтнотов, разочаровывает Y, а вот Z, наоборот, сильно прибавил. Изредка, когда заходила речь о жизни самой, Владимир Григорьевич вздыхал: «Вот если бы был жив Ленин, всё было бы по-другому» — точка зрения, довольно распространенная тогда у людей его поколения. Я слушал и не слушал его — моя собственная жизнь была занята уже другим: через несколько месяцев я подал документы на выезд из Советского Союза.

Мы встретились за несколько дней до общего собрания, где все должны были осудить мой поступок, бросающий тень на весь Дворец пионеров, и гуляли долго неподалеку от его дома. Я избегал тогда говорить в помещении по причине, понятной каждому, кто жил в те времена в СССР. Зак сразу сказал, что на собрание не придет, как не пришли, кстати, и другие шахматные тренеры, мои коллеги. «Ты представляешь себе, что тебя ждет, если тебе не разрешат уехать?» — спрашивал он. Ему было тогда почти шестьдесят, и он хорошо знал, чем могут кончиться подобные эскапады по отношению к государству. Никогда нельзя было предвидеть, сколько продлится процедура ожидания визы и во что это всё вообще выльется. Более поздний пример Гулько, проведенного в отказе семь лет, — тому свидетельство. Прощаясь, Владимир Григорьевич сказал: «Чтобы там ни случилось, Гена, желаю тебе счастья» — и не то чтобы обнял, а как-то наклонился ко мне. Банальные слова, конечно, но для него и немалые, вероятно, потому и запомнил их. Это был последний раз, когда я видел его.

Контакта у нас не было до конца 80-х годов, хотя я и знал, что он продолжает работать во Дворце: что-то доходило и до моего голландского далека. Стал гроссмейстером и чемпионом Европы среди юношей один из его учеников — Александр Кочиев, которого помню худеньким мальчиком с рыжей шевелюрой, уже тогда отличавшимся философским отношением к жизни и замечательным умением играть блиц. Он вспоминал позднее: «Был Владимир Григорьевич тренером высочайшего класса, хотя и до определенного уровня, но и характер имел тяжелейший». Хорошо помню и другого его ученика — симпатичного пухлого мальчика с пионерским галстуком. Сверстники называли его Ермолой, и он не мог знать еще, что через четверть века будет играть на первой доске за сборную Соединенных Штатов. Знаю, что уже после моего отъезда у Зака занимались и Валерий Салов, и совсем маленький Гата Камский. Но в конце концов он должен был уйти из Дворца, где проработал более сорока лет. У него испортились к тому времени отношения с коллегами, некоторые из них были в прошлом его учениками. Они имели уже собственных учеников, собственные амбиции и представления о тренерском процессе. Повторюсь: Владимир Григорьевич был человеком, что называется, строгих правил и, ежели говорил: «Я так считаю», это звучало так, будто это и есть единственно верное мнение. Было ему к тому времени семьдесят три, возраст, что и говорить, больше располагающий к размышлению о бренности всего земного, чем к показу тонкостей гамбита Шара — Геннинга. Но он просто не мог оставить дела, которому отдал всю жизнь, досуг мог стать опасен для него, и вряд ли он смог бы обрести покой в праздности.

Александр Кентлер, руководивший шахматной школой университета, где Зак стал работать тренером, вспоминает, что и здесь Владимир Григорьевич любил анализировать позиции с нарушенным материальным равновесием, и здесь показывал свои дебюты, иногда и повторяясь, но делал это всегда с удовольствием. Вначале он работал три дня в неделю, затем два, потом только один... Надо ли говорить, что он никогда ни на минуту не опоздал на работу. Не всегда всё получалось уже на доске, но у многих осталась от него какая-то линия в жизни,



пусть хоть и пунктирная.

Он написал в этот период несколько книг, поучительных для каждого тренера. Но есть там и абзацы, сквозь которые проглядывает обида, явная или тайная. Речь идет о проблеме, чувствительной для него самого. Он сформулировал ее так: «Могут ли успешно продолжать работу со своими учениками тренеры, когда их практическая сила начинает уступать мастерству учеников?» Проблема эта выходит за рамки шахмат, да и спорта вообще: должен ли тренер всегда превосходить ученика или, наоборот, это может даже служить препятствием, так как люди, которым величайшие достижения кажутся простыми и естественными, не могут понять, почему замысел, маневр или движение, очевидные для них, могут стать источником трудностей для других. Эта проблема носит и другой аспект: границы и степень благодарности ученика своему учителю. Но если, к примеру, в музыке профессия детского педагога имеет давние традиции, в шахматах само понятие «детский тренер» впервые появилось в Советском Союзе в 30-х годах и получило широкое распространение там только после войны. Может быть, поэтому не было четкого водораздела между детским тренером, тренером, секундантом или просто спарринг-партнером.

Действительно, Зак очень болезненно воспринял уход четырнадцатилетнего Спасского к Толушу. Нельзя не учитывать, что процесс этот происходил на фоне человеческих и материальных отношений искусственной, закрытой от остального мира жесткой тоталитарной системы — тогдашнего Советского Союза. Жертвенность и бессребреничество, работа за просто так, за ничто считалась в порядке вещей. Ботвинник, нередко поминая в разговорах Ван Гога, спрашивал меня: «Почему, вы думаете, Ван Гог не писал больших полотен?» И сам же отвечал: «Да потому, что у него не было денег на покупку большого холста. Он же был нищий!» Было видно, что именно этот аспект жизни голландского художника — нищенство, одержимость работой, подвижничество — очень импонирует патриарху и в каком-то смысле проецируется на него самого.

Это бессребреничество (по понятиям Запада, фактически и нищета), подвижничество, в чем-то и жертвенность, но и одухотворенность, порыв, увлеченность и преданность делу до фанатизма создали определенный тип людей. Конечно, грозные события 20-го века, и в Советском Союзе в первую очередь, не могли не коснуться их. Всю свою сознательную жизнь они прожили в этой стране, сформировавшей так или иначе их мировоззрение, привычки и образ жизни, но весь свой талант и энергию они отдавали делу, которому была посвящена жизнь. Учителя в школах, преподаватели в университетах, тренеры во дворцах пионеров, доценты в консерваториях — большинство их имен совершенно неизвестно на Западе. К этому типу людей принадлежал и Владимир Зак. Результатом их работы явились сдерживаемые на протяжении десятилетий и выплеснутые из страны энергия и талант людей, завоевавших передовые позиции за университетскими кафедрами, шахматными столиками и на концертных подмостках мира.

В 1988 году, когда Советский Союз стал уже как-то крошиться, я, будучи в Москве с молодым Пикетом, позвонил ему по телефону. В том же году вышла книга, посвященная шахматному Петербургу-Ленинграду, с именем Зака на титульном листе. Тираж ее - 100 тысяч экземпляров — был совсем не редким в те времена. Конечно, Зак не мог знать, что всего через несколько лет Корчной возвратится в Россию на белом коне, но все равно он не должен был принимать участия в книге, в которой имя Корчного даже не упоминалось. Руководили ли им чисто практические, гонорарные соображения? Было ли это еще одним актом самоутверждения? Известно ведь, что даже самым мудрым от честолюбия удается избавиться позже, чем от других

страстей. Было ли это временным помрачением или, как полагает Корчной, явилось началом его болезни? Первые симптомы ее известны: забывчивость, потом всё усиливающаяся, и обида или агрессивность, если на это указывают.

В феврале 1993 года справили юбилей — восьмидесятилетие. Когда я вскоре позвонил ему, мне ответили: правильно набирайте номер, здесь таких нет. Получив еще раз тот же ответ, я обратился за разъяснениями к Спасскому. Тот уже был в курсе дела: Владимира Григорьевича отдали в дом для престарелых. Он вступил в самый последний период жизни, «когда всё позади — даже старость и остались только дряхлость и смерть».

Конечно, не в традициях России отдавать стариков из семьи в дом для престарелых, потому и живут там, как правило, те, у кого уж совсем никого нет. К тому же каждый в России понимает, что это значит — дом для престарелых, даже если у тебя отдельная комната, как это было у Владимира Григорьевича в Павловске. Время от времени к нему приезжал кто-то из учеников, но самые известные жили далеко: во Франции, Швейцарии, Испании, Америке... Это был, конечно, уже не тот Владимир Григорьевич, которого они знали в свое время, но это было и не растительное существо, коими заполнены такого рода дома во всех странах мира. Он выслушивал последние новости, перелистывал шахматные журналы, иногда и смотрел что-то на шахматах, радовался гостинцам, но и плакал часто... Из Владимира Григорьевича ушел уже Владимир Григорьевич, учивший маленького Борю Спасского не бояться потери рокировки в королевском гамбите, но и тот, который остался, не хотел больше оставаться в этом доме. Он уходил оттуда несколько раз, его отсутствие замечали, снаряжалась погоня, его возвращали. Куда он шел? Домой? К своим ученикам? В далекое бердичевское детство? Владимир Григорьевич Зак умер 25 ноября 1994 года.

«В нашем сознании игра противостоит серьезности... Мы можем сказать: игра — это несерьезность. Но помимо того, что такое суждение ничего не говорит о положительных свойствах игры, оно вообще весьма шатко. Стоит нам вместо «игра — это несерьезность» сказать «игра — это несерьезно», как наше противопоставление лишается смысла, ибо игра может быть чрезвычайно серьезной», — писал Йохан Хейзинга шестьдесят лет тому назад. Зак, один из наиболее ярких тренеров послевоенного времени, представил игру, шахматы, для ребенка, подростка не просто как серьезное занятие, но и как дело, могущее стать смыслом всей жизни. Но в таком отношении к шахматам он, как тренер, был тогда не одинок, одного этого было бы недостаточно. Конечно, его личные качества: эмоциональность, горение, одухотворенность — только укрепляли веру молодого человека в высокое назначение шахмат. Но и это было бы неполным объяснением.

Марк Тайманов: «Не думаю, чтобы Зак был педагогом высокого уровня, он не был и сильным игроком, но примечательно, что из его рук выходили шахматисты совершенно разного стиля игры высочайшего класса. Вероятно, какой-то секрет у него был». Действительно — какой? Сам он скажет позже: «Мне просто повезло с учениками. Всё зависело только от них. Если бы они не хотели играть, я сам бы ничего сделать не смог». И все же почему именно он? Только ли талантливые ученики? Время, этому способствовавшее? Всё совпало? Отчасти. Но главное, мне кажется, не в этом.

Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет. Это, конечно, о нем. Владимир Григорьевич Зак был великим учителем шахмат.

Июнь 1999

## Страсть (С. Фурман)

Турнир в Вейк-ан-Зее 1977 года сложился очень удачно для меня. Я лидировал начиная с первого тура, и, только выиграв последнюю партию, Геллеру удалось стать вровень со мной. Скептически-одобрительно поджав губы и покачивая головой, он, наблюдая за моими партиями, говорил: «Вылитый Сёма, сразу видно, ленинградская школа, это же он так учил играть — по центру...»

Геллер имел в виду моего фактически единственного тренера Семена Абрамовича Фурмана. Во Дворце пионеров постоянного тренера у меня не было, поэтому, когда осенью 1959 года в Чигоринском клубе появилась возможность заниматься с Фурманом, решение пришло само. Группа была небольшая, человека три-четыре, и просуществовала она, как помню, года два. Во время одного из первых занятий он сказал: «Вы не должны меня спрашивать то, что можно найти в дебютных справочниках, это было бы потерей времени».

Мы подвергали всестороннему анализу различные позиции, чаще всего дебютные, или, я бы сказал, предмиттельшпильные, но основное внимание уделялось разбору собственных партий, большей частью проигранных. Помню, как после более чем часового анализа одной из моих партий, когда, казалось, уже всё стало ясным, мы подошли к финальной позиции, где партия была признана ничьей. Эндшпиль был таков: четыре пешки белых против трех на королевском фланге, у черных отложилась проходная на ферзевом, правда, у белых, которыми играл я, были два слона против слона и коня. «Ты знаешь, — сказал Фурман, — у тебя в заключительной позиции перевес, и немалый». Стали анализировать. Неожиданно проходная пешка черных делалась слабой, а то и вообще погибала, король белых просачивался во вражеский стан, два слона свирепствовали.

Помню и его характерное поднятие бровей и взгляд из-под очков, когда я показывал ему одну из своих партий. «Интересно, — спросил Сёма, — а у кого ты подсмотрел эту идею?» Хотя я клялся, что придумал всё за доской, он стоял на своем: «Может быть, и так, но все равно в подсознании у тебя осталась увиденная ранее партия кого-нибудь из классиков».

В моих глазах он был тогда пожилым человеком, вероятно, этому способствовала внешность: седина, залысины, увеличивавшиеся с возрастом, хотя, честно говоря, я тогда даже не задумывался о его возрасте — все старше тридцати казались мне уже немолодыми людьми. Сёме было в то время тридцать девять лет.

Он родился 1 декабря 1920 года в Пинске, в Белоруссии, где процент еврейского населения в городах и местечках был традиционно высок. Его вдова Алла Фурман вспоминает: «Родители Сёмы говорили на идише, понимал его и он сам, но никаких еврейских праздников и традиций в семье не соблюдали. Не был Сёма и членом партии, хотя и зазывали, многие его турниры и заграничные поездки не состоялись как раз из-за этого».

В 31-м году семья переехала в Ленинград, несколько позже в его жизнь вошли шахматы. Он был учеником Ильи Рабиновича — сильного мастера позиционного стиля. Закончив школу, Сёма не стал учиться дальше и поступил слесарем на завод: шахматы захватили его тогда уже целиком. Естественный творческий рост Фурмана задержала война. Когда он стал мастером, ему было двадцать пять лет — солидный возраст по нынешним меркам.

О тех временах вспоминает Марк Тайманов: «С Сёмой нас связывали долгие годы совместной работы, регулярной, каждодневной. У нас был разный подход к шахматам, и единство оценок

давалось нам с трудом. Мы занимались в первую очередь дебютом, нельзя забывать, что это были годы, когда только закладывался фундамент современной теории шахмат и проблемные позиции возникали едва ли не после каждой партии и во многих дебютах. Память у Сёмы была превосходная, но он никогда не довольствовался ею, стараясь до всего докопаться сам, собственным аналитическим трудом. Бывали дни, когда анализы наши затягивались до полуночи, а на следующий день утром он уже снова был у меня. Кроме того, Сёма был очень упрям, и нередко наши изыскания достигали глубокого эндшпиля. Все варианты мы проверяли очень тщательно и записывали в толстые тетради, снабжая для наглядности диаграммами, рисованными от руки. Эти тетради у меня сохранились, и я до сих пор вылавливаю из них варианты, не потерявшие актуальности и сегодня. Сёма был простым и малообразованным человеком, он ведь после школы нигде не учился; он не был ни в коем случае интеллектуалом, но другом был очень преданным, и, хотя бывал немногословен, обладал очень хорошим чувством юмора. Во время чемпионатов СССР и вообще турниров на выезде мы часто жили в одном номере гостиницы, так было на протяжении многих лет».

В чемпионатах страны Фурман дебютировал в 1948 году, и сразу громкий успех — третье место. Вместе с Котовым он еще за три тура до конца находился во главе турнира, и только слабый финиш не позволил свершиться полной сенсации. В том же году стал чемпионом мира Ботвинник, входил в мировую элиту Керес, уже ярко блистал выдающийся Бронштейн. Болеславский был тогда не только замечательным теоретиком, но и игроком высочайшего класса, почти на самой вершине пирамиды стоял Смыслов, через несколько лет вышли на мировую арену Петросян, Геллер, Тайманов, Авербах, сразу вслед за ними представители новой волны — Спасский, Корчной, Таль, Штейн, список этот далеко не полный. Фурман выигрывал у них всех, и все они, садясь за доску с ним, считались с высоким, гроссмейстерским классом его игры. Сёма регулярно играет тогда в первенствах СССР, но ему ни разу не удается превзойти тот первый результат. Официально гроссмейстером он стал только в сорок пять лет — сегодня в этом возрасте многие уже заканчивают карьеру.

Белыми Фурман практически всегда начинал партию ходом 1.d4, редко прибегая к 1.x4 или 1.f3, черными же играл многие дебюта, избегая, впрочем, те, в которых отсутствует крепкий центр, такие, как защиты Грюнфельда, Пирца, Алехина или индийские построения. Белые фигуры в руках Фурмана были оружием огромной пробивной мощи, особенно же ему удавались позиции с преимуществом в пространстве и центральной игрой, там часто шел накат, и сильнейшие игроки мира не уходили от его хватки.

Но как бы ни был силен Фурман-практик, он уступал Фурману-теоретику, который был, без сомнения, одним из ведущих в мире. Его идеи остались во многих дебютах: защите Нимцовича, староиндийской и сицилианской защитах, принятом ферзевом гамбите, где одна из систем носит его имя. Вариант Брейера в испанской был создан и введен в практику им и Борисенко в начале 50-х годов и так и назывался в советской шахматной литературе: вариант Борисенко — Фурмана.

Вспоминаю, как в 1959 году, вернувшись с первенства страны, он показывал свою партию с Нежметдиновым. В позиции из староиндийской защиты, полной тактических возможностей, Фурман сделал парадоксальный ход, уведя ладью от возможных ударов на исходную позицию. Через несколько ходов, еще более укрепив центр, он вернул ладью в бой и выиграл прямой атакой на короля. Год спустя тот же маневр применил Ботвинник в аналогичной позиции против Пахмана на первенстве Европы в Оберхаузене, решив партию позиционной жертвой коня. Эти партии привели к тому, что позиции, считавшиеся в свое время вполне игровыми, с

обоюдными шансами, сейчас практически совсем исчезли из турнирной практики, заставив черных искать новые пути в одном из основных вариантов «староиндийки».

Анализы и разработки Фурмана носили глобальный характер, речь шла, как правило, о концепте, а не об обнаружении того или иного хода, меняющего оценку с немного лучшей на равенство или наоборот. Вся игра белых, стремление к обладанию центром, логика и ясность были характерны для стиля Фурмана.

Глубокое понимание шахмат, и дебюта в первую очередь, обилие собственных идей и разработок сделало его желанным советником, секундантом и спарринг-партнером многих выдающихся шахматистов. Его услугами нередко пользовался Ботвинник, сыгравший с Фурманом не одну тренировочную партию. Он помогал также в различные периоды их карьеры Тайманову, Бронштейну, Петросяну, Корчному. Но во всех этих случаях речь шла о сотрудничестве с уже сложившимися гроссмейстерами высочайшего класса. Работа была в основном консультационной, доведением дебютных систем и вариантов до нужных кондиций, выявлением новых возможностей. Так продолжалось до тех пор, пока Фурман не начал работать с Карповым.

Толе Карпову было тогда семнадцать лет, и, хотя он уже был мастером, он не умел и не знал еще очень многого в шахматах.

Алла Фурман: «Когда Сёма помогал Ботвиннику или Петросяну, он уезжал на неделю, на две или дольше, но когда появился Толя - он стал всем. Можно ли сказать, что Толя занимал особое место в его жизни? Безусловно, бесспорно, он любил Толю безоговорочно, и все эти десять лет они были неразлучны. Когда Сёмы не стало, Толя сказал, что последние десять лет Фурман больше провел с ним, чем со мной. Это была сушая правда: бесконечные сборы, тренировки, турниры, отъезды - он был не с семьей, с сыном, со мной, но с Толей».

Он увидел в Карпове-подростке то, чего не хватало в шахматах ему самому, и отдавал тому всё, что знал об игре, поэтому стремительно нараставшие успехи Карпова были самовыражением в шахматах и самого Фурмана.

Анатолий Карпов: «Легко установить тот день, когда я в первый раз увидел Семена Абрамовича, — это было сразу же после 18-й партии матча Ботвинник — Петросян в мае 1963 года. Фурман, помогавший тогда Ботвиннику, советовал ему в той партии, которая была отложена, сделать ничью. Ботвинник же, полагая, что у него лучше, стал играть на выигрыш и проиграл. Рассердившись, он отправил Фурмана читать лекции в Подмоскowie на сборы «Труда», где был и я. Было мне тогда неполных двенадцать лет. Начали же мы вместе работать осенью 1968 года, когда я, поступив сначала в Московский университет, переехал в Ленинград, где жил Фурман. Это и явилось причиной переезда — возможность постоянных занятий с ним, регулярного общения. Без сомнения, в моем формировании как шахматиста Фурман сыграл решающую роль. Дело даже не в том, что он был универсальным знатоком теории, — у него была масса собственных идей, он генерировал идеи, особенно белыми. Он и играл белыми на порядок, а то и на два лучше, чем черными. И чутье было замечательное, сразу видел главную линию в анализе, пространство очень любил. Но и упрямый был невероятно; это вообще неплохо — упрямство в анализе, я это люблю даже, но у него это порой до глупости доходило, хотя иногда удавалось спасти системы, которые были под страшной угрозой. Поначалу он мне казался спокойным человеком, но потом я увидел в нем большую внутреннюю энергию, которая выражалась не только в шахматах. Был он заядлый картежник, каждую осень — за грибами и места грибные знал; другой ритуал — кормление рыб в аквариуме, вместе с сыном.

Я и рыб этих помню, и название в памяти осталось — гуппи, хотя сам и не интересовался никогда.

Нет, ссор не было, было непонимание, когда я не выиграл из-за его карт чемпионат страны в Ленинграде. Было у меня преимущество в отложенной важнейшей партии с Савоном, и немалое. Сёма же до пяти часов ночи с Левитиной в карты играл, потом, не анализируя фактически, предложил план, я его и послушался - едва ноги унес...»

Фурман производил впечатление спокойного, даже флегматичного человека. На ранней фотографии 1948 года он выглядит как брокер на нью-йоркской бирже 30-х годов или голливудский актер, играющий гангстеров, но в то время, когда я с ним познакомился, у Сёмы была внешность скорее доцента университета или главного бухгалтера строительной фирмы. Он был молчалив, и в шахматных кругах стала знаменитой его фраза: «А вы задавайте вопросы» — это когда будущая жена при первом знакомстве поинтересовалась причиной его молчания. Говорил он медленно, слегка картавя, в движениях своих был размерен — не спеша передвигал фигуры на доске, медленно тянулся к кнопке часов, вынимал сигарету, чиркал зажигалкой, поправлял очки... Но внешность эта была обманчива. Если верно, что характер каждого человека соответствует какому-то определенному возрасту, то в Сёмином случае этот возраст находился где-то между двадцатью и тридцатью годами. Те, кто был знаком с ним близко, знали, что отличительной чертой его натуры была страсть. Страсть, проявлявшаяся во всем, чем бы он ни занимался, будь то карточная игра, собирание грибов, рыбная ловля или слушание заграничного радио. Страсть и недалеко отстоящие от нее по шкале эмоций — азарт и упрямство. Разумеется, главной страстью его были шахматы.

«Знаешь, Алёна, - говорил молодой жене Сёма, — я теперь не знаю, как я буду в шахматы играть, потому что я люблю тебя больше, чем шахматы, и я не знаю, как совместить теперь эти две любви...» Алла Фурман вспоминает: «Он занимался шахматами все время. Любил смотреть на карманных шахматах, ведь у нас и места дома было немного. Но и без шахмат, я видела это, он все время думал о них, в поезде, в автобусе, — я знала этот взгляд, когда он слушал и не слышал то, что я говорила ему: он был весь в шахматах».

Бывало, что шахматы держали его в напряжении и ночью. В 63-м году чемпионат страны проходил в Ленинграде, и я бывал там почти каждый вечер. В четвертом туре Фурман играл с Холмовым, который разделил в том турнире первое место со Спасским и Штейном. Рат-мир - шахматист выдающегося природного дарования - славился прохладным отношением к теории дебютов и невероятной цепкостью в защите. Однако в тот вечер, казалось, ему не удастся уйти — это была позиция Фурмана: мощный центр, два слона, давление белых нарастало. Но как-то постепенно перевес Фурмана растворился, и партия закончилась вничью. Когда мне удалось проникнуть в комнату для участников, анализ ее уже закончился, и Сёма сидел один в характерной позе, подперев затылок рукой, в другой тлела сигарета. «Большое было преимущество, Семен Абрамович?» - спросил я. Он грустно посмотрел на меня и ничего не ответил, было видно, что он еще не отошел от партии. «Меня всю ночь не покидало чувство неисполненного долга, — вспоминал Фурман на следующий день, — я заснул только под утро и во сне заматовал-таки Холмова!»

Даже после того как наш кружок распался и занятия прекратились, я часто встречался с Фурманом на соревнованиях или в Чиго-ринском клубе. В 1964 году в чемпионате Ленинграда мне удалось выиграть у него, вероятно, одну из лучших партий того периода моей жизни. Играя черными, я понимал, что в академической борьбе за уравнивание у меня шансов немного, и уже в дебюте пожертвовал качество. Какая-то инициатива у меня была, его король был вынужден

временно задержаться в центре. Это было психологически верное решение. Дело было даже не в резкой перемене обстановки на доске. Вследствие своих обширных знаний и большой культуры дебюта плохие или даже худшие позиции у него практически не встречались, и он играл их менее уверенно. Мне кажется, что по той же причине игра выдающихся знатоков дебюта Портиша (в 60—70-е годы) и Каспарова в худших или несколько худших позициях также слабее — относительно, разумеется, — по сравнению с их же собственной игрой при нарастающем позиционном давлении, в сложном миттельшпиле, при фигурной атаке или в техническом окончании.

В 1966 году я проходил действительную службу в рядах Советской Армии. За официальной формулировкой этой скрывались проживание дома, крайне редкое ношение формы, игра блиц и в карты в шахматном клубе Дома офицеров; впрочем, иногда играл и в армейских соревнованиях за Ленинградский военный округ. В один из солнечных весенних дней мы — мои коллеги по спортивной роте Марк Цейтлин, Эрик Аверкин и я — получили предписание: помочь с переездом на новую квартиру Фурману — нашему тренеру и одноклубнику. Помню немудреную обстановку, шахматные книги, стопки бюллетеней, выпускавшихся тогда по поводу любого мало-мальски пристойного турнира. Когда к часу дня операция была успешно завершена, Сёма сказал: «Это дело надо обмыть». Он пригласил нас в ресторан «Москва» на Невском проспекте, тогда очень престижный. «Что будем пить, ребята?» - спросил он. «Как скажете, Семен Абрамович», - отвечали мы. Литр водки за обедом был выпит легко, и Сёма пил наравне с нами. Он вообще не чурался рюмки, был человеком компанейским и расположенным ко всем, кто также был расположен к нему. В три часа мы уже выходили из ресторана, довольный Сёма снова благодарил нас за помощь, но и у нас настроение было замечательное: **хотя до вечера было еще далеко, день службы уже прошел, Невский и вся жизнь лежали тогда перед нами...**

Полгода спустя он тяжело заболел: потеряв за месяц около двадцати килограммов, Фурман должен был, не закончив турнира и вернувшись в Ленинград, подвергнуться тяжелой операции. Я сам работал уже в Чигоринском клубе и, помню, ходил по инстанциям с письмом-просьбой шахматной федерации, чтобы Фурмана прооперировал Мельников — светила тогдашней онкологии, что и произошло. Операция удалась, и болезнь отступила, чтобы вернуться обратно через одиннадцать лет. Но годы эти стали особыми в его жизни, потому что в них вошел Карпов.

Летом 1971 года в доме отдыха архитекторов в Зеленогорске, под Ленинградом, я помогал Корчному готовиться к матчу с Геллером. В соседнем коттедже жили Фурман с Карповым. Изредка, когда время приближалось к предобеденному, мы навещали их. На подходе к домику Корчной и я нарочито громко говорили, давая знать о своем приближении, дабы не вторгнуться нечаянно в тайну анализа; если же окна были затворены, бросали в них горсть песка, как это делали любовники в старинных французских романах.

К этому же времени, кстати, относятся четыре тренировочные партии, сыгранные между Корчным и Карповым. Соперники выиграли по одной партии при двух ничьих, хотя справедливости ради нужно сказать, что во всех четырех у Карпова были белые фигуры. Партии эти явились как бы прологом к генеральной репетиции — финальному кандидатскому матчу в Москве в 1974 году — и к жестоким схваткам на мировое первенство на Филиппинах и в Мерано.

Во время такого рода сборов или соревнований процветала карточная игра. В конце 60-х вошел в моду бридж, он стал одной из страстей Фурмана. Как и многое тогда в стране, бридж не был

официально запрещен, он не был и рекомендован. Игра эта сразу захватила его полностью, что, впрочем, совсем не значило, что другие карточные игры были забыты, просто бридж стал для Сёмы главной карточной страстью. По мнению Карпова, он никогда не играл в бридж сильно, хотя и здесь придерживался классики, изучал теорию, системы, способы торговли. «В бридже очков нет, — выговаривал он как-то при мне начинающему бриджисту. — Запомни, у тебя на руках тринадцать пунктов». И сердился, когда тот через минуту снова начинал заговаривать об очках.

Однажды в том же Зеленогорске, в то время как взрослые сидели за карточным столом, маленький сын Фурмана — Саша и Ирина Левитина решили испробовать надувную резиновую лодку. Поднялся ветер, и ее стало относить от берега. Когда ситуация стала тревожной, все забеспокоились: «Они уже далеко, надо что-то предпринимать...» — «Пока не будет сыгран роббер, — раздался голос Фурмана, — никто никуда не пойдет!» Иногда карты сменялись домино, надо ли говорить, что и этой игре Сёма предавался самозабвенно. Процесс игры редко проходил в молчании, удары костяшек по столу сопровождались соответствующими комментариями, нередко переходящими в полемику, когда игра заканчивалась. Сёма тоже мог вернуть словцо, когда и сильное, он знал немало присказок и выражений, особую пикантность которым придавал контраст с его профессорским видом. На одной из Спартакиад команда Ленинграда выступала не особенно успешно, растеряв немало очков во встречах с более слабыми соперниками. Чтобы сохранить шансы на медали, надо было сделать ничью в отложенной безнадежной позиции и выиграть равные. Последней надеждой был Фурман, к которому принесли на суд все позиции, уповая на чудо. Сёма долго сопел, по обыкновению недоуменно поднимая и опуская брови, и наконец изрек: «Что ж здесь сказать. Профуканное ворохами - не воротись крохами». Даже еще и сильнее сказал. Все засмеялись, сдали без игры безнадежную позицию и согласились на ничью в равных.

Пребывание за городом открывало прекрасные перспективы и для другой страсти Семена Абрамовича — слушания зарубежного радио. Сёма принадлежал к довольно распространенной тогда категории людей, которые на память знали время работы радиостанций, вещавших на Советский Союз. Но если игра в бридж была больше шалостью, на которую смотрели сквозь пальцы, к слушанию «вражьих голосов» государство относилось менее толерантно, предпринимая контрмеры, делающие прием затруднительным или совсем невозможным, другими словами - применяя глушение. Особенно сильно оно чувствовалось в крупных центрах, поэтому грех было, находясь за городом, не воспользоваться случаем, тем более что транзисторный приемник, привезенный Сёмой из-за кордона, имел в отличие от большинства отечественных короткие волны, что значительно облегчало прием. Понятно, что занятие это не поощрялось, а на наиболее суровых отрезках советской истории даже каралось, поэтому происходило оно всегда в кругу своих. Сёма не только умело лавировал между волнами, обходя наиболее ревущие, но и знал имена дикторов, ведущих и авторов программ «Свободы», «Голоса Америки», Би-би-си и «Голоса Израиля». Радио Сёма слушал только по-русски, знание языков не было его сильной стороной. Польза от изучения иностранных языков в школе у него, так же как у подавляющего большинства сограждан, была близкой к нулю, а потом всё свободное время заняли шахматы, да и непросто зубрить слова в том возрасте, когда хочется проникнуть в суть выраженных ими вещей.

После турнира в Вейк-ан-Зее 1975 года Фурман, Геллер и я давали сеансы одновременной игры в Амерсфорте. Слушая приветствия организаторов, в знак уважения к зарубежным гостям произносимые по-английски, Сёма тихонько вздохнул: «Прав был Михаил Моисеевич...» Я вопросительно посмотрел на него. Сёма разъяснил: «Наша школа считалась шахматной. Кроме



меня и приятеля моего Юры Борисенко там училось немало сильных шахматистов. Помню, в середине 30-х годов к нам после выигрыша какого-то сильного турнира приехал с отчетом молодой Ботвинник. Тогда это практиковалось. Мы сразу к нему — что-нибудь на шахматах посмотреть. А он нам: «Учите, учите, ребята, иностранные языки, без них — беда». Прав, всегда прав Михаил Моисеевич...»

Однажды, впрочем, он пытался получить информацию на иностранных языках, надеясь услышать только одно имя — Фишер. Это было в ночь на первое апреля 1975 года под Москвой, где они с Карповым готовились к матчу на первенство мира. В этот день истекал срок подачи официальных заявок в ФИДЕ. Но имя Фишера в эфире так и не прозвучало, а еще через два дня Эйве объявил Карпова чемпионом мира.

Тот же транзисторный приемник помогал Сёме переносить одиночество, которым он всегда тяготился. Направление, протянувшееся от древних к Шопенгауэру и Ницше, проповедующее одиночество, но и требующее немалого внутреннего потенциала, было ему совершенно чуждо. Лучше всего Сёма чувствовал себя в дружеской компании, а диалоги с самим собой заменял ему транзистор, который всегда был с ним, вплоть до последних больничных мартовских дней 1978 года. «Зачем? — искренне удивился Сёма, когда я предложил ему почитать что-нибудь из запрещенного тогда в Советском Союзе. — У меня же радио есть, я и так в курсе дела».

Он фактически ничего не написал, за исключением разве что теоретических обзоров в шахматные издания, следуя неосознанно здесь, как, впрочем, и в жизни, пифагоровской заповеди: говори мало, пиши еще меньше. Но вижу его низко склонившимся над листом бумаги и, прищурясь, вглядывающимся в текст партии (Сёма был очень близорук), чтобы переписать его характерным почерком.

Так тогда делали все, в то недавнее и такое далекое докомпьютерное время. У каждого были тетради с анализами, разработками или просто важными партиями, переписанными от руки. Помню такие и у Каспарова времен одного из его первых международных турниров в Тилбурге в 1981 году. Конечно, трата времени была ужасающая; теперь и партии, и варианты могут быть вызволены из базы данных при помощи одного пальца, а сэкономленное время можно посвятить анализу, а можно поручить это компьютеру или совместить оба эти занятия. Но все же время, ушедшее тогда на восстановление, сверку и даже переписку вариантов, не кажется мне потраченным совершенно впустую: так монахи средневековья, перенося священные писания на пергамент или бумагу, пропускали их через голову и сердце, прочнее сохраняя тексты в памяти.

Помню Сёму еще за одним его ритуалом: тщательно изучающим последнюю страницу газеты «Известия», где время от времени публиковался курс валют. Он, бывавший за границей, знал, конечно, всю искусственность приводимых там соотношений. Рубль был неконвертируемой валютой, делая не такой уж далекой от истины ходившую тогда шутку: в одном долларе — фунт рублей. Мне кажется, что ему просто доставляло удовольствие чтение красивых слов: гульден, крона, драхма или песо. Расходовать валюту за границей следовало экономно, дабы купить что-то, чего попросту не было в Советском Союзе, а таких вещей было немало. Корчной вспоминал, как Фурман, будучи на турнире где-то в Скандинавии, каждое утро покупал жареную курицу, стоившую тогда один доллар, которую и съедал потихонечку в течение дня. В этом не было ничего позорного или необычного, я знал многих спортсменов и музыкантов, неделями во время заграничных поездок питавшихся захваченными из дома консервами или копченой колбасой. По возвращении на родину валюту следовало обменять на сертификаты или чеки, существовали специальные магазины, где товары, главным образом заграничные,

можно было купить только на них. «Там каждый магазин, как у нас сертификатный, только лучше», — объяснял один гроссмейстер своим приятелям, никогда не бывавшим на Западе. Мне кажется, что для Сёмы, как и для многих тогда советских людей, весь Запад выглядел как один большой сертификатный магазин. Он вырос вместе с понятиями стахановец, субботник, политинформация, характеристика, невыездной и многими другими, совершенно неизвестными на Западе и умершими вместе с государством, их создавшим. С другой стороны, он вследствие сравнительно частых, особенно в последние годы, выездов за границу и регулярного слушания иностранного радио был знаком, пусть только внешне и поверхностно, с жизнью другого мира. Два этих мира легко уживались в нем, не вызывая противоречия, он принимал их как данное, как нечто само собой разумеющееся, четко проводя границу между одним и другим. Более того, скепсис и ирония по отношению к стране, где он жил, сочетались у него, как и у многих тогда, с изрядной долей патриотизма.

В декабре 1971 года я помогал Корчному во время большого международного турнира в Москве. Фурман был там же в качестве тренера Карпова, и мы с ним прожили все две недели в одном номере гостиницы. Тогда это считалось в порядке вещей. Спасский вспоминает, что даже во время матча на мировое первенство с Петросяном он делил комнату со своим тренером Бондаревским: «Уж такое было время. Это я потом стал понимать, что значит privacy, как это важно...»

Москва тогда не была лучшим местом для вечерних и ночных развлечений. Поэтому часам к десяти в наш номер, считавшийся своего рода нейтральной территорией, собирались бриджисты: покойный Штейн, Горт, Парма, изредка Ульман, Корчной, иногда заглядывал Карпов. Сёма, разумеется, присутствовал всегда. Я обычно лежал на кровати, что-нибудь читая, время от времени поднимая голову на шум — следствие жарких дебатов, разгоравшихся за карточным столом по поводу несыгранной игры или неверно сообщенной информации при заключении контракта.

Расходились обычно часам к трем, а то и позже. Сёма открывал форточку — накурено было до невозможности — и, возвращаясь к реальному миру и замечая меня, задавал всегда один и тот же вопрос: «Ну, Геннадий, что нового в мире?» Он так звал меня всегда — моим полным именем. Слегка потупясь, я отвечал: «Как же я могу знать, что нового в мире, Семен Абрамович, ежели машина бездействовала». — «Это мы сейчас», — говорил он и, низко склонясь над светящимся табло, начинал настраивать транзистор на нужную волну. Пробираясь сквозь шум глушилок, он приговаривал: «Интересно, чем сегодня порадует нас Анатолий Максимович». Сёма имел в виду Анатолия Максимовича Гольдберга, комментатора Би-би-си, исключительно популярного тогда среди подпольных радиослушателей. Если ему удавалось добиться более или менее сносного звучания, он предлагал: «Ну что, по последней?» Мы закуривали по сигарете, нередко оказывавшейся предпоследней, и я, усаживаясь поближе к приемнику, говорил: «Есть обычай на Руси — ночью слушать Би-би-си!» — «Не мешай, не мешай, дай же послушать», — призывал меня к порядку Сёма: он относился серьезно к этому ночному ритуалу.

Мог ли я предполагать тогда, что спустя двенадцать лет передам свой первый репортаж на Советский Союз о матче Каспаров — Корчной из лондонской студии Би-би-си? Хотя Сёма тогда уже не было в живых, видел его хорошо среди моих воображаемых слушателей, когда прибегал к своей любимой формулировке: «Как знают, вероятно, любители шахмат в Советском Союзе», после чего сообщался факт, который они не знали и знать не могли...

«Вы, Семен Абрамович, вчера опять всю ночь в карты играли, -выговаривал ему иногда

Карпов.

- Я слышал, как Горт в три часа к себе вернулся, его комната рядом с моей». — «Во-первых, мы в четверть третьего уже разошлись, — слабо защищался Сёма, — а во-вторых, откуда я могу знать, почему Горт пришел к себе в три часа ночи». — «А то, что вы курите безбожно и диету не соблюдаете, -это как?» - продолжал Карпов. — «Как же, Толя, я диету не соблюдаю, когда я вчера грейпфруты купил, вот еще два на подоконнике лежат». — «А то, что в отложенной партии с Ульманом...» — не сдавался Толя. Я выходил из комнаты, спрашивая себя, кто же из них, собственно, старше на тридцать с лишним лет.

Мы с Фурманом сыграли две партии уже после моего переезда на Запад, в обеих у меня были белые — здесь я сам чувствовал себя Фурманом. Помню его блеснувший из-под очков взгляд, когда в первой из них, в Вейк-ан-Зее в 75-м году, я применил новинку на восьмом ходу, фактически опровергающую весь вариант. Впрочем, выиграть партию мне не удалось, равно как и другую, в Бад-Лаутер-берге два года спустя, где он в дебюте добровольно пошел на позицию с изолированной пешкой. Мне казалось, что так играть нельзя, но, потратив много времени и так ничего не добившись, я предложил ничью. Парируя во время анализа мои попытки доказать преимущество белых, Сёма изрекал свое обычное: «Чудак, я же работал, анализировал этот вариант». Добавляя: «Не горячись, посмотри внимательно, здесь же у черных активная игра».

Там же в Бад-Лаутерберге мы по утрам гуляли неторопливо в парке, разговаривая о том о сем. Иногда к нам присоединялся Ли-берзон. Всякий раз, увидев Фурмана, он издавал радостный клич: «Там, где Сёма, — там победа!» Они давно знали друг друга, встречаясь на всесоюзных и армейских соревнованиях еще в СССР. «Ну, что, Сёма, — начинал обычно свою речь Либерзон, — как там наша родная советская власть?» Здесь он обычно не брезговал крепким словом. Чаще же уходил в воспоминания о прошлом, в котором всегда есть что-то абсурдное, особенно когда это прошлое относилось к Советскому Союзу. Либерзон уехал в Израиль только за четыре года до этого, и прошлое для него еще не стало окончательно прошедшим, чтобы обрести свою безоговорочную прелесть. Сёма поднимал и опускал брови, подавал время от времени реплики или начинал сопеть, что являлось предвестником начинающегося смеха, шедшего заразительными перекатами, нередко с подачей головы вперед. Редкие прохожие в парке провинциального немецкого городка с неодобрением оборачивались на нас.

Внешне Сёма выглядел старо: лысина его расширилась, еще более подчеркнув немалых размеров лоб, оставшиеся волосы почти все были седые, походка стала еще более степенной, но душой он был по-прежнему юн. По Солону, лучшая пора в жизни мужчины — от тридцати пяти до пятидесяти шести лет. Будь Солон знаком с профессиональными шахматами конца второго тысячелетия, он, вероятно, думал бы по-другому, но во время того турнира Фурману и было пятьдесят шесть, и играл он еще очень энергично, и занял в турнире третье место, обогнав многих известных гроссмейстеров.

Выиграл же турнир Карпов, опередивший Тиммана на два очка и вообще доминировавший тогда в шахматном мире. Было очевидно, что сотрудничество Фурмана с Карповым оказалось очень плодотворным для обоих. Сам Фурман сказал как-то: «При нем я предельно мобилизуюсь, играю лучше. Не тот авторитет у меня будет, если выступлю неудачно. Как потом стану ему давать советы?»

Однажды я присутствовал при их анализе отложенной позиции. Они были вместе уже десять лет и понимали друг друга с полуслова, но и в житейском смысле они притерлись друг к другу, как супруги после десятилетнего совместного проживания. Зайдя тогда в Бад-Лаутерберге к

простудившемуся слегка Фурману, я застал у него Карпова.

Семен Абрамович у нас, - говорил он, глядя в пространство, — сначала чая горячего напьется с медом, потом на улицу выходит, на ветер, а теперь вот жалуется, что простудился. Было бы странно, если бы он не простудился.

Во-первых, я не сразу вышел, а обождал немного, во-вторых, я же, Толя, шарф шерстяной надел, — оправдывался Фурман.

Он думает, что если он шарф шерстяной надел... — продолжал Толя, и я снова спрашивал себя, кто же в действительности старший из них двоих.

Это был его последний турнир, и последний раз, когда я видел его.

Алла Фурман: «Может быть, если бы не было этой нервозности, бессонных ночей, если бы он больше следил за собой, не курил так отчаянно, всё могло бы и обойтись. Он жил так, как будто смерть его не касается, не допуская никаких разговоров о болезнях, что этого нельзя, того нельзя... Он делал всё, что ему нравится».

Бессознательно Сёма жил, следуя правилу Ницше, полагавшему, что секрет извлечения наибольшего удовольствия из существования прост: жить с наибольшим риском для жизни самой, жить на грани пропасти.

Анатолий Карпов: «За три недели до смерти я был у него в Меч-никовской больнице. Он шутил, смеялся, строил планы на матч с Корчным, какие дебюты играть, как и что... Он не знал тогда, что он безнадежен, да и я, признаться, тоже не знал».

Семен Абрамович Фурман умер 16 марта 1978 года. Несмотря на то, что жизнь его не получилась длинной, мне думается, что она удалась. Применимый к нему обычай древних фракийцев: после каждого счастливо прожитого дня класть белый камешек, а несчастливо — черный и после смерти подсчитывать, какой получилась жизнь, — дал бы очевидный результат. Белый цвет, так любимый им в шахматах, явно преобладал бы.

Матч Карпова с Корчным начался через несколько месяцев после его смерти. Без сомнения, Фурман понимал, побывав в Белграде на финальном матче претендентов и видя вблизи мощную игру Корчного, что легкого матча не будет. Как чувствовал бы он себя, когда на Корчного в Багио, помимо реальной и огромной силы его соперника, обрушилась вся мощь государственной машины, частью которой ему так или иначе предстояло бы стать?

Любитель информации, он наверняка знал, что в январе 1978 года четырнадцатилетний мальчик из Баку выиграл первую партию в жизни у гроссмейстера и свой первый взрослый турнир в Минске. Но он не мог знать, что этот мальчик спустя семь лет отберет у его ученика чемпионский титул и будет единолично править в шахматном королевстве в течение пятнадцати лет.

Как бы реагировал он на шахматы сегодняшнего дня, так не похожие на те, в которые играл он сам? Шахматы, в которых появилось так много нового, чего не было при нем, и которым придано ускорение, карающее неуверенность, но и раздумье в поисках лучшего хода. Шахматы, получившие огромную поддержку от компьютера, но и обретшие в его лице могущественного и безжалостного соперника, не прощающего минутную расслабленность или потерю концентрации. Шахматы, где в понятия подготовка, анализ да и в сам игровой процесс

вкладывается совсем другой смысл, чем тот, который был при нем.

Какой совет он дал бы Карпову сейчас? Стараться не попадать в цейтнот? Поменьше тратить времени на марки, из-за чего Сёма ворчал на своего ученика и в лучшие годы? Увеличить объем тренировок, больше доверяя компьютеру? Или просто повторил бы слова польского мастера Пшепюрки: «Почему я играю хуже? Потому, что старею. Молодые, на арену!»

Июль 1999